



У МЕНЯ С САМОЙ СОБОЙ УГОВОР: ПО УТРАМ О ДЕНЬГАХ не думать. Так подросток старается не думать о сексе. О сексе тоже стараюсь не думать. И о Люке. И о смерти. Что означает — не думать о матери, она умерла в отпуске прошлой зимой. Много всякого, о чем нельзя думать, чтобы по утрам удавалось писать.



Адам, хозяин моего жилья, наблюдает, как я выгуливаю его пса. Возвращаюсь, а он в костюме и сверкающих ботинках, опирается на свой “бенц” на подъездной дорожке. По утрам ему нужна поддержка. Как и всем нам, видимо. Упивается контрастом между собой и мной, всклокоченной и в трениках.

Когда мы с собакой подходим, Адам говорит:

— Рано встала.

Я всегда рано встаю.

— Да и ты.

— Встреча с судьей в суде в семь ровно.

Обожай меня. Обожай меня. Обожай судью, в суде и семь ровно.

— Кто-то же должен это делать.

Не нравлюсь я себе рядом с Адамом. Он, по-моему, не хочет, чтоб я себе нравилась. Даю собаке протаскать меня на несколько шагов мимо него — к белке, что протискивается сквозь рейки сбоку от здорового Адамова дома.

— Ну что, — говорит он, не желая отпускать меня слишком далеко, — как там *роман*?

Это слово он произносит так, будто его придумала лично я. Все еще опирается об автомобиль и поворачивает ко мне только голову, словно его поза слишком дорога ему и он не желает ее менять.

— С ним все хорошо. — У меня в груди начинается пчелиная возня. Несколько пчел ползет по руке с внутренней стороны. Один разговор способен испортить мне все утро. — Пора к нему возвращаться. Короткий день. Работаю двойную.

Втаскиваю пса на заднее крыльцо, отстегиваю поводок, пропихиваю животное в дверь и быстро ссыпаюсь по лестнице.

— Сколько страниц набежало?

— Пара сотен, наверное.

Не останавливаюсь. Уже на полпути к своей комнате сбоку от его гаража.

— Знаешь, — говорит он, отталкиваясь от своей машины, ожидая моего к себе полного внимания. — На мой взгляд, это невероятно: тебе, по-твоему, есть что сказать.



Сижу у себя за столом и глазею на фразы, которые написала перед прогулкой с собакой. Не помню их. Не помню, что писала их. Как же я устала. Смотрю на зеленые цифры на радиочасах. К обеденной смене мне одеваться меньше чем через три часа.

Адам учился в колледже с моим старшим братом Калемом — вообще-то, кажется, Калек был тогда немножко влюблен в Адама, — и поэтому Адам не сядет мне на голову с арендной платой. И еще не-

много сбрасывает за то, что я выгуливаю его собаку по утрам. Эта комната в прошлом была садовым сараем, и в ней до сих пор пахнет суглинком и прелой листвой. Места здесь впрыток на односпальный матрас, стол и стул, а плитка с одной конфоркой и тостер — в уборной. Ставлю чайник на горелку — выпью еще черного чаю.

Пишу не потому, что, по моему мнению, мне есть что сказать. Пишу, потому что, если не писать, все кажется еще хуже.



В девять тридцать встаю со стула, отстирываю свою белую плиссированную блузку от пятен говяжьей вырезки и черники, утюжу насухо на столе, вешаю на плечики, цепляю крюк плечиков за петлю у себя на рюкзаке. Влезаю в черные рабочие брюки и футболку, собираю волосы в хвост, закидываю рюкзак за спину.

Выкатываю велосипед задом из гаража. Он там едва помещается — из-за всякого барахла, которое Адам держит: старых колясок, детских стульчиков, прыгунков, матрасов, конторок, коньков, скейтов, пляжных кресел, факелов тики, настольного футбола. Остальное место занимает красный микроавтобус его бывшей жены. Машину эту она бросила вместе со всем прочим — кроме детей, — когда в прошлом году переехала на Гавайи.

“Хорошая машина пропадать вот так”, — сказала как-то раз горничная, разыскивая шланг. Ее зовут Оли, она из Тринидада, не выбрасывает даже совочки, приложенные к коробкам со стиральным порошком, — шлет их домой. Этот гараж сводит Оли с ума.

Я еду по Карлтон-стрит, проскакиваю под красный на Бикон и устремляюсь к Комм.-ав.¹ Мимо грохочет транспорт. Соскальзываю с седла вперед и жду вместе с растущей толпой студентов, когда переключится светофор. Некоторые восхищаются моим коном. Это старый велочоппер, я нашла его в мае на свалке в Род-Айленде. Мы с Люком привели его в порядок, надели новую промасленную цепь, подтянули тормозные тросики и раскачивали ржавый подседельный штырь, пока он не вылез до нужной мне высоты. Переключатель скоростей вделан в руль, отчего кажется мощнее, чем на самом деле, — будто где-то запрятан двигатель. Мне нравится все это ощущение как от мотоцикла — рукоятки руля вздернуты, седло простегано, и есть спинка, на которую я опираюсь, когда качусь по инерции. В детстве у меня такого велика не было, а вот у лучшей подружки был, и мы менялись велосипедами на несколько дней за раз. Эти студенты-бэушники² слишком молоды, на велочоперах не катались. А мне уже тридцать один, у меня мама умерла.

Светофор переключается, и я возвращаюсь в седло, пересекаю шесть полос Комм.-ав. и жму на педдали через мост БУ на кембриджскую сторону реки Чарлз. Иногда не успеваю добраться до моста и надламываюсь. Иногда начинается на мосту. Но сегодня все в порядке. Сегодня держусь. Выкатываюсь на боковую дорожку с приречной стороны Мемориал-драйв. Разгар лета, река словно бы утомлена. Вдоль берегов толкается в тростники пенная белая дрянь. Похоже на белый налет, что копится в уголках рта у матери Пако под конец долгого дня беспрестанных кухонных жалоб. По крайней ме-

ре, я там больше не живу. Даже садовый сарай у Адама лучше, чем квартира под Барселоной. Переезжаю через улицу у Ривер-стрит и Уэстерн-авеню, где сворачиваю с бетона на грунтовую тропу, что ведет ближе к урезу воды. Со мной все в порядке. Со мной по-прежнему все в порядке — пока не замечаю гусей.

Они на пяточке у опоры пешеходного моста, то ли двадцать их, то ли тридцать, суетятся, тянут шеи, втыкают клювы себе же в перья или в перья соседям — или в немногие уцелевшие травяные кочки. Приближаюсь — все громче их гомон, крики, бормотанье и возмущенный клекот. К помехам на своем пути они привычны и, чтобы убраться у меня с дороги, двигаются совсем чуть-чуть, а некоторые, когда проезжаю мимо, делают вид, будто щипнут меня за лодыжку; есть и такие, что предоставляют спицам у меня на колесах прошелестеть по перьям на гузках. И только истеричные кидаются в воду, вопя так, будто на них нападают.

Люблю я этих гусей. От них у меня делается туго и полно в груди, они помогают верить, что все опять наладится, что переживу и теперь, как не раз переживала раньше, что бескрайняя угрожающая пустота впереди — всего лишь призрак, жизнь светлее и игривее, чем я привыкла ее видеть. Но по пятам у этого чувства — у подозрения, что еще не все потеряно, — приходит порыв рассказать маме, сообщить ей, что сегодня со мной все в порядке, я ощутила нечто близкое к счастью и, возможно, все еще способна чувствовать себя счастливой. Ей такое было бы интересно. Однако рассказать не получится. В любое такое вот хорошее утро в эту стену я всегда и влетаю.